

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ ЦУКЕРБРИНАМ



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П24

Художественное оформление серии
Константина Гусарева

Пелевин, Виктор Олегович.

П24 Любовь к трем цукербринам : роман / Виктор
Пелевин. — Москва : Эксмо, 2022. — 448 с.

ISBN 978-5-04-165179-4

О головокружительной, завораживающей и роковой страсти к трем цукербринам.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-165179-4

© В. О. Пелевин, 2022
© Оформление. ООО
«Издательство «Эксмо», 2022

The universe is made of stories, not atoms.
*Muriel Rukeyser*¹

ОБЪЯСНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ

Эта странная книга содержит три повести (одна непропорционально длинная) — и объяснительный текст, соединяющий их в целое. Связующий материал (я назвал его «Киклоп») можно рассматривать в качестве дополнительного рассказа, полностью документального — хотя я признаю, что в таком качестве он никуда не годится: в нем есть длинное и подробное вступление, есть заключение, но почти отсутствует повествовательная часть, вместо которой читателя ждет несколько страниц моих шатких рассуждений, отдающих научпопом.

Я хочу попросить прощения за эти недостатки — но книга и не могла получиться иной. Говорить о работе Киклопа подробно я не стал по причинам, которые будут вполне ясны. С другой стороны, совсем не упомянуть о Киклопе я не мог тоже — иначе три моих повести потеряли бы всякую связь друг с другом: было бы непонятно, что у них общего, кем они написаны и откуда вообще взялись.

Поэтому прошу иметь в виду: моя цель — рассказать не столько о Киклопе, сколько о том, что

¹ Вселенная состоит из историй, не из атомов.

Мюриэль Рукэйзер, американская поэтесса

Киклоп увидел и понял на своем посту. Ибо многое из этого кажется мне заслуживающим внимания.

В своей книге я иногда пользуюсь научной терминологией. Хочу подчеркнуть, что я не физик и вообще не имею никаких технических познаний. Я просто пытаюсь объяснить наблюдаемую реальность в терминах, которые у всех на слуху, чтобы не придумывать слишком много неологизмов. Физик, возможно, найдет в моем рассказе нестыковки и противоречия. В таком случае предлагаю ему придумать объяснение лучше моего — и сохранить его себе на память.

Физическая сторона вопроса на самом деле не особо для меня важна. Но она довольно интересна. Во времена Галилея и Коперника полагалось во вступлении делать реверанс в сторону церковной догмы и соотносить с ней все гипотезы и предположения, а сегодня мы должны точно так же кланяться догме научной. И если я говорю иногда про «мультиверс» и «многомерность», я делаю это примерно с теми же чувствами, с которыми Галилео мог бы упоминать в своей книге пророка Исайю и Ангелов Божьих: с робкой верой, что Святое Писание понято мной, грешным колдуном, хоть отчасти правильно.

В книге почти нет связи с актуальной действительностью. Думаю, что в наше время это скорее достоинство, чем наоборот.

Засим почтительно возлагаю к стопам Читателя и Читательницы свой скромный труд.

Часть 1. КИКЛОП

ГОЛЕМ ИЛЕЛЕЕМ

В начале следует описать ту точку, где сходятся все эти истории — или, может быть, откуда они расходятся.

Наверно, скорее расходятся — потому что только с учетом этого центрального события делаются понятными все изгибы прослеженных мною судеб.

Это было похоже на вспышку магния, которая запечатлела героев в случайных позах — и послала в будущее их фотографические отпечатки. Я говорю «магния», поскольку огонь и дым были настоящими. Айфон такой вспышки не даст даже по команде из АНБ. Хотя, конечно, как знать — я где-то читал, что американские смартфоны могут не только подслушивать, подсматривать и поднюхивать, но и детонировать по сигналу из центра, пробивая ушную раковину и мозг направленным взрывом аккумулятора. Наверно, конспирологический юмор.

Но по порядку.

Я знал, что не останусь Киклопом вечно. Это опасная нервная работа, которую выполняют обычно не больше года или двух. Потом Птицы нащупывают в ткани нашего мира мешающий

им узел с достаточной точностью, чтобы удалить его — если надо, вместе с самой тканью. Они больше не используют в качестве оружия случайно оказавшихся рядом людей. Так они ведут себя, когда действуют вслепую, и Киклоп случайно появляется в поле их внимания на несколько секунд. Если они твердо знают, где искать своего врага, они поступают иначе.

Как, я сейчас расскажу.

Точно подо мною располагалось рабочее место Кеши — молодого человека, различным состояниям и формам которого будет посвящена значительная часть этой книги. Можно сказать, что в то время он был самым близким мне существом — во всяком случае, в пространственном смысле.

Иногда я позволял себе нескромное, наверно, развлечение — настраивался на его ум и начинал наблюдать за происходящим в окружающем пространстве через его глаза — и даже сквозь призму его сознания. Я воспринимал не только то, что он видел, но и голоса, раздававшиеся в его уме (не буду называть их мыслями — поскольку половины из них он не слышал сам, а другой половине подчинялся без размышления).

Иногда это бывало интересно, иногда — очень. Если он, например, включал своих японских школьниц (такое случалось, когда в офисе оставалось мало народу и Кеша был уверен, что никто не подойдет к нему со спины), его внутреннее пространство заполнялось грубоватым комментарием, похожим на футбольный. Кеша, за-

служенный работник bondage/bukkake на пенсии, как бы разъяснял происходящее несмышленным профанам, которые смотрели порнушку вместе с ним. Таким профаном в эти минуты был один я — но Кеша в своем воображении транслировал сигнал на куда большую аудиторию. Все-таки поразительно, до какой степени человек общественное существо.

Когда людей в офисе собиралось слишком много, чтобы можно было смотреть порно или играть с компьютером в игры, Кеша начинал троллить зазевавшихся граждан в Интернете — словно ас Второй мировой, вылетевший на свободную охоту. Картинка на экране делалась на это время совершенно пристойной и функциональной: любой медийный работник сегодня полдня ныряет по блогосфере.

Иногда Кеша отвлекался от компьютера, глядел на своих соратников по офису — и выносил им приговор судьбы.

Наименее жесток он был к девушке Наде, занимавшейся буфетом и озеленением пространства — «если пострижется нормально и перестанет бояться людей, то найдет себе какого-нибудь азербота». Других он судил строже. Главного редактора сайта «Contra.ru» (так называлось место, где он работал) он окрестил про себя «шабесгеем» (что не мешало Кеше ежедневно перед ним заискивать — но жизнь, как известно, есть клоунада). При этом Кеша искренне считал, что влечение к виртуальным японским школьницам является нормой, а главный редактор — перверт.

Соответственно, информационный продукт родного сайта Кеша называл про себя словом «шабесгон» (даже бормотал во время дедлайнов мечтательную мантру-стишок «мой шабесгон, мой шабесгон — как много дум наводит он»). Коллег по работе он делил на «вонючек» и «усталых» (первые с годами превращались в последних, отвоняв свое — примерно как выгорающие звезды).

Ну и так далее. Кеша на самом деле не был ни гомофобом, ни антисемитом, ни снобом. Просто ассемблер чужой души при близком рассмотрении редко выглядит привлекательно. Но мы еще вернемся к Кеше — сейчас я рассказываю об этом, чтобы было понятно, чем я занимался внутри его головы в тот день, когда произошло роковое событие. Я отдыхал в ней, как в персональном кинозале — в этот день крутили довольно интересное кино.

В редакцию «Контры» пришел входящий в моду поэт Гугин, бочкообразный лысый мужчина с треугольной рыжей бородой («бегемот апокалипсиса», как он сам себя называл — но темно-багровый цвет его лица наводил скорее на мысль об апоплексии). С ним делали большое интервью.

Было две телекамеры и три прогрессивных журналиста, пришедших для съемок круглого стола — их рассадили полукругом перед большим белым щитом с надписями «Contra.ru», и Гугин, стоя в фокусе этого живого прожектора, читал стихи («стиши», как он говорил) из своего нового проекта «Голем Илелеем».

Это была амбициозная попытка отразить в стихах все наиболее яркие события недавнего прошлого: составить, как изящно выразилась одна из трех журналистов, «Гугл Мэп Эпохи». Когда Гугин утомлялся, начинал говорить кто-нибудь из журналистов, и камеры поворачивались на него. Потом неиссякаемый Гугин снова начинал декламировать.

Отрывок, который он читал перед вспышкой, назывался «Героям — Пазолини!» и был посвящен, как легко догадаться, известным событиям в Киеве, уже успевшим к этому времени несколько потускнеть в народной памяти:

Под холодным ветром, полным праха,
согнулся мерзлый тартарас,
И беркут наш встал черепахой
В последний раз, в последний раз...

Отчетливо помню эту секунду — и мгновенный срез всех создававших ее умов.

Гугин, читая, соображает, не обидится ли редактор на «тартараса», приняв его за замаскированного «пидараса» — и быстро отмечает во внутреннем блокноте, что надо конкретизировать это как обличительную сатиру на хаос в сознании боевика, увлекаемого в тартары духа Тарасом на щите. Стиш, короче, надо доводить.

Первый журналист, кисло оскаленный блондин с волосами до плеч, размышляет о том, можно ли классифицировать Гугина как полноценного либерала — и сомневается: не все маркеры в стихах расставлены нужным образом, и кажется, что

это сделано вполне сознательно. Хотите войны? Таки война вам будет!

Второй журналист, одутловатый одуванчик, уже наполовину выбритый ветром перемен, думает длинную и сложную мысль: Гугина можно назвать одним из множества современных куплетистов, занимающихся культуррейдерством. Он, в сущности, читает не свои стихи, а чужие, с перебитыми номерами, перекрашенные в нужный цвет — которые он просто перепродает через юридический механизм пародии. Какая-то дура, польстившись, видимо, на слово «голем», назвала новый проект Гугина «русской либеральной идеей, отлитой в гранате» — и, похоже, сама не поняла, что сказала. А попала в точку. На приватизации и перепродаже можно заработать — но можно заработать и на самом Гугине. Например, сделать на эту тему статью под названием «Всюду Шпенглер».

Третий журналист, дама, вспоминает о тех самых словах про отлитую в гранате либеральную идею, так некстати сказанных ею на фоне «тартараса» и вообще поклепа на революцию. Гугин не оправдал аванса. Ничего, выпишем инвойс...

Девушка по имени Надя в нескольких метрах от импровизированной сцены протирает горшок с чахлым ростком пальмы (в горшке стоят две крохотные красные лошадки из пластмассы) и не думает ни о чем — просто смотрит на эту пальму и лошадок. Почему-то земля кажется ей сегодня особенно черной.

За остальными умами в офисе «Контры» я не слежу.

Кеша слушает хриловатый бас Гугина. На душе у него скверно, как и всю последнюю неделю: очень плохие служебные перспективы. Он замечает тень какого-то движения у себя за спиной, оборачивается и видит незнакомого человека, идущего по проходу между столами.

Человек глядит Кеше прямо в глаза. У него небритое лицо горного пассионария, он грязен, за плечами у него рюкзак. Под его распахнутой курткой видна майка с пучеглазой белой овечкой, весело жующей стебли конопли. Его глаза стеклянно блестят: он то ли на наркотике, то ли в трансе. Его губы дрожат — или быстро шепчут.

Кеша понимает, что незнакомец идет именно к нему — но не знает зачем (а я это уже знаю: человек с рюкзаком уверен, что идет ко мне, поскольку наводится на мое внимание, направленное на него из Кешиных глаз). Кеша успевает встать и выставляет перед собой руки. Человек как бы падает в Кешины объятия — и прижимает его к себе изо всех сил, словно встретив наконец любимое существо, которое искал перед этим всю жизнь. Кеша успевает почувствовать нелепый эротизм момента. Сжавший его человек тоже, видимо, ощущает нечто подобное — и шепчет:

— Меня зовут Бату... Аллаху акбар.

Затем происходит страшной силы взрыв. Лампочки всех собравшихся в комнате умов сразу гаснут.

Я прихожу в себя. Я лежу на полу — сила взрыва была такой, что меня сбросило с моего стула этажом выше. Проходит секунда или две, и я понимаю, что больше никогда не буду Киклопом.

А теперь я объясню, как я им стал — и что это слово значит.

КОРОБКА № 1

Я не собираюсь рассказывать о себе слишком много. Мое настоящее имя должно быть скрыто — такова древняя традиция, и я не хочу ее нарушать. Но это и не понадобится: называя себя последней буквой алфавита, я проявлю смирение, которого мне не всегда хватало в прошлом.

Все началось с того, что умер один из моих дальних родственников — и оставил мне однокомнатную квартиру в Москве недалеко от Садового кольца. Это сильно упростило мою жизнь: я переехал туда из съемного жилья. Теперь я мог работать меньше, и у меня появилась уйма свободного времени. Я занимал его в основном прогулками, чтением и спортом. Со временем я собирался стать «писателем» — это означало, что, зря растрачивая молодость, я уверял себя, будто накапливаю необходимый жизненный опыт.

В квартире был сделан приличный ремонт, поэтому я ограничился тем, что вывез все оставшиеся от покойного вещи, заменив их своими пожитками. Я оставил только один из доставшихся мне по наследству объектов — большой фанерный

ящик, полный старых книг и желтых ксерокопий. Сохранил я его главным образом потому, что мне понравилась украшавшая его надпись масляной краской:

КОРОБКА № 1

Мой покойный родственник, что-то среднее между дядей и дедушкой, был одним из позднесоветских «внутренних эмигрантов». Он всю жизнь собирал характерную для этой среды литературу, главным образом так называемую «эзотерику» — и хранил ее в задвинутом под кровать ящике, чтобы она не попадалась на глаза редким гостям. В советское время каждый сторож свято верил, что за ним следят — и был, возможно, прав.

Не могу сказать, что во мне проснулся внезапный интерес к тайному знанию времен московской Олимпиады. Но отчего-то мне показалось неразумным выкинуть доставшиеся по наследству облигации и ваучеры духа, даже не попытавшись их обналечить.

В коробке были фантастические романы, которые обитатели советских катакомб принимали за послания свыше. Были послания свыше, замаскированные под фантастические романы. Были древнеегипетские тексты, сочинения Шмакова и Блаватской — и прочий археологический материал. Там же нашлось несколько книг индийских учителей в английском оригинале.

Странный информационный коктейль, вылившийся на меня из этого фанерного ковчега, на-

долго зачаровал мою душу. Есть такой анекдот про слепых, ощупывающих слона — вот и я, можно сказать, осваивал похожий подход к древней человеческой мудрости.

Конечно, сейчас многие скажут, что приветливый хобот, касавшийся моих страждущих губ, был на самом деле мокрым хвостом уходящей в забвение драг-культуры шестидесятых. Но даже если я заблуждался, мне все равно везло. Везением была сама возможность ошибки — в те дни ошибиться было еще можно, и именно сбой матрицы, как это всегда бывает, вели в непредсказуемый лабиринт чудесного.

Желтые страницы шептали: если ты хочешь, чтобы высокое и тайное вошло под темные своды твоего «я», следует развить в себе благоговение и склониться перед неизвестным в молчаливом поклоне. Дело не в том, что кому-то нужны эти поклоны. Тут действует простой эффект наподобие физического: чтобы легкие втянули в себя свежий воздух, в них должен возникнуть вакуум. Нельзя наполнить чашку, которая полна до краев — она должна быть пустой.

Мы все лишь части единого, впитывала в себя моя замершая в поклоне тишина, и главным заблуждением человека является вера в то, что вокруг него — какой-то «внешний» мир, от которого он отделен воздушным зазором. Человек состоит именно из мира, прорастающего сквозь него тысячью зеленых ветвей. Он и есть переплетение ветвей, поднимающихся из озера жизни. Отражаясь в его поверхности, ветви верят в свою отдельность,

как мог бы верить в нее, к примеру, зеркальный карточный валет, не догадывающийся, что им просто играют в дурака и без колоды он нефункционален.

Наш ум — продолжение ума тех, кто жил раньше, наше тело состоит из праха древних звезд, а волшебный язык, на котором мы думаем об этом, самая центральная и интимная часть нашего существа — выставлен напоказ в любом букваре... Высшее «Я» мира — в каждом из нас, шептали желтые страницы, только сумей найти его.

Но я сразу понял, что искать это высшее «Я» будет другое, низшее — которым я в результате и окажусь. Вся тайная мудрость человечества представлялась мне чем-то вроде зеленого лесного лабиринта. Его тропинки подводили близко-близко к висящему над ним яблоку истины — и снова уводили прочь. Сделаться, стать, оказаться тем единственным, что было всегда и с самого начала, для смертного человека невозможно. Одна кажимость может как угодно перетекать в другую, облака могут принимать самые разные формы — но они никогда не смогут стать небом.

«Понять, что ты всегда был...»

Желтые страницы, похоже, немного ввали. Или хитрили. Или недоговаривали. Мираж может понимать про себя что угодно, но никогда не станет вечностью — он в лучшем случае станет ее миражом. Путь в вечность не существовало просто потому, что по ним нельзя было уйти дальше, чем от забора до могилы, причем даже это короткое путешествие начинали и заканчивали совершенно

разные существа. В комментариях мелким шрифтом сообщалось, что это отсутствие пути и есть он самый. На этом можно было успокоиться, подивиться лишний раз мудрости древних — и все забыть.

Но меня не оставляло чувство, что есть какое-то очень простое действие — как выражались мои источники, «трансцендентное усилие», способное разом спрямить все углы и убрать все нестыковки. Я подозревал, что «гордиев узел» не следовало даже рубить — его, как в цирковом фокусе, можно было сдвигать вниз по веревке, пока он не упадет.

Дело в том, что это не искатель истины становился бесконечностью, как пели желтые страницы. Все было наоборот — сама бесконечность становилась искателем истины. Она-то могла это сделать, потому что способна была принимать любую форму, в том числе уже существующую. Я мог, согнув пальцы, изобразить на стене тень крокодила. Но тень крокодила даже при величайшем духовном усилии никогда не смогла бы стать моими пальцами.

Однако вечность делала это не по выбору соискателя, а по своему собственному разумению. И тогда действительно все углы спрямлялись, все невозможности исчезали и все гордиевы узлы падали в траву сами собой.

Но как? Как? А никак, хихикали желтые листы, путь именно таков. Я долго размышлял — и, кажется, понемногу начал понимать это «никак». Оно подразумевало тишину, покой и как бы отсут-

ствие волн. А покой был невозможен без чистой совести. Но что значит — «чистая совесть»?

Помню поразившую меня сцену в каком-то русском романе: бандит с крестом на груди перед выгодным убийством задумывается на секунду о его моральных последствиях — и, махнув рукой, бросает:

— А! Отмолю...

При всем уважении к отечественной духовной традиции, я чувствовал — дело не в «отмолю». Многое из того, что человечество полагало грехами, казалось мне невинными шалостями. Но совершать их все равно не следовало. Просто потому, что нарушение земных, небесных — или полагаемых таковыми — установлений, какими бы странными они ни казались нормальному человеку, неизбежно порождало в душе беспокойство.

В уме как бы раздавалось множество гневных древних голосов, которым отвечало такое же множество раздраженных тонких голосков помоложе. Это случалось независимо от духовной силы отдельно взятой личности и от весомости личного «право имею» — собранный в душе культурный организм неизбежно вступал в диспут сам с собой (что хорошо показывала, например, история Родиона Раскольникова).

Дело было не в том, кто из голосов «прав», а в самом этом сумеречном состоянии духа, различавшемся по интенсивности от шторма до ряби — которое полностью лишало ум его, так сказать, отражательной способности, пряча от человека небо вечности с его великими звездами. Я догадывался,

что именно для этого мировые эмиссионные банки и финансируемая ими культурка и поддерживают так называемый «прогресс», этот вечно тлеющий конфликт между равновонючими «старым» и «новым». Вечность не то что брезговала войти в пораженные клокочущим смятением души. Она просто не могла.

Зеркало души следовало держать чистым и ясным — и делать все возможное, чтобы в нем не начиналась рябь. Поэтому я старался не причинять зла другим и следовал даже глупым социальным установлениям, если за их нарушение полагалась внутренняя кара. Я помогал людям чем мог, не делая из этого, впрочем, фетиша — и вообще был покладистым и добрым: это позволяло быстро забывать встречных.

Разумеется, я не держал зла на сделавших мне дурное, принимая это просто как одно из собственных жизни неудобств. Я не обижался даже на тех, кто сознательно стремился меня оскорбить и унижить, видя в этом трогательную попытку набиться мне в знакомые.

Помогало мне, в частности, то обстоятельство, что я отчетливо понимал: в России «восстановление поруганного достоинства и чести» быстро приводит на нары в небольшом вонючем помещении, где собралось много полных достоинства людей, чтобы теперь неспешно мериться им друг с дружкой. Мне никогда не хотелось составить им компанию из-за химеры, которую они же и пытались инсталлировать в мой ум.

При первой возможности я старался отойти от плюющихся подобными императивами граждан как можно дальше. Я научился различать конструкции, собранные ими в моей психике в мои бессознательные годы. Поэтому у меня без особого усилия получалось замечать в своей душе приступы ненависти, столь характерные для нашего века, и я почти никогда не позволял им обрести для себя рационализацию, превращающую людей в русофобов, либералов, националистов, политических борцов и прочих арестантов.

Я ни разу не испытывал искушения гордо посмотреть в глаза идущему мимо гостю столицы или укусить добермана за обрубок хвоста. У меня не было ни политической программы, ни травматического пистолета. Я позорно уклонялся от революционной работы и не видел в показываемом мне водевиле ни своих, ни чужих, ни даже волосатой руки мирового кагала. Куски распадающегося мяса, борющиеся за свою и мою свободу в лучах телевизионных софитов, не вызывали во мне ни сочувствия, ни презрения — а только равнодушное понимание управляющих ими механизмов. Но я всегда старался сдвинуть это понимание ближе к сочувствию — и у меня нередко получалось.

Я не смотрел телевизор и не читал газеты. Интернетом я пользовался как загаженным стационарным сортиром — быстро и брезгливо, по необходимости, почти не разглядывая роспись на стенах кабинки. И к двадцати пяти годам тревожная рябь в моей душе улеглась.

ЗЕРКАЛО

В жизни всякого молодого человека есть огромные равнины скуки. Ничего не происходит, ты цепенеешь, как дерево в июльский полдень, и кажется, что «сейчас» никогда не сдвинется с места. В эти минуты мы и принимаем свою главную позу — главную не из-за какого-то присущего ей смысла, а потому, что именно такими вечность фотографирует нас на память. Она чаще всего запоминает нас молодыми.

Для меня эта вечная фотография выглядит так: парень в сером кимоно (оно было мне очень велико и служило чем-то вроде домашнего халата) сидит в полулотосе перед старым зеркалом в дубовой раме. Зеркало таких размеров, что больше похоже на калитку. Подложка стекла уже стала окисляться, или что там бывает со старыми зеркалами, и по ней веером расходятся черные пятна. Но мне это не мешает — там, куда я гляжу, со стеклом все в порядке.

Я делаю упражнение «циклоп», описание которого нашел в коробке № 1 — в рассыпающейся от ветхости брошюре (мелованная бумага, синий шрифт с ятями, 1915 год).

Упражнение заключается в том, что йогин (меня ужасно волновало это слово) садится перед зеркалом на расстоянии чуть меньше метра (точная дистанция подбирается экспериментально) и скрещивает глаза таким образом, что их отражения раздваиваются — пока отражение правого глаза не накладывается на отражение левого точ-

но над переносицей. Сделать это просто, сложнее долго удерживать отражения в таком ракурсе. Но при известной практике можно научиться. Результат упражнения, утверждала брошюра — развитие ясновидения.

Я не особо верил в ясновидение, конечно. Но меня развлекало происходящее. Довольно скоро из зеркала на тебя начинает смотреть очень глубокий, странный и удивительно реальный глаз, уже не совсем твой — по своей геометрии он представляет собой нечто среднее между правым и левым. А потом ты вообще перестаешь видеть что-то кроме него, поскольку иначе невозможно удерживать его в фокусе. Если делать это упражнение долго — а я иногда просиживал перед зеркалом часами, — глаз начинает понемногу оживать.

Через него поочередно проходят все возможные человеческие выражения: презрение, гнев, интерес, омерзение, равнодушие, насмешка... Я знал, что вижу просто отражение своего собственного ума («психического состава», как выражалась ветхая тетрадка с синим шрифтом). Но постепенно я начинал понимать — дело не только в психическом составе.

В упражнении определенно скрывалась тайна. Смотрящий из зеркала глаз не был моим. Он вообще не был чьим-то. Мне казалось, он больше всего похож на дверной глазок. Я сижу перед дверью, а за ней время от времени проходят неизвестные и ненадолго останавливаются на мне взгляд (как если бы платоновскую пещеру приватизировали

и укрепили стальной дверью какие-то философы с очень серьезными связями).

Иногда странный глаз смотрел на меня с ненавистью, иногда с презрением, иногда брезгливо — и каждый раз мое сердце испуганно соглашалось, что именно этого я и заслуживаю. Но однажды глаз посмотрел на меня с новым выражением.

Оно походило на сочувственное понимание. Причем понимание инженера: мне показалось на миг, что этому взгляду моя душа представляется чем-то вроде пинбола — наклонной доски с лунками, по которой катается выброшенный пружиной шарик, отскакивая от электрических рычажков. Глядящий мне в сердце глаз внимательно рассматривал этот пинбол.

Потом мой взгляд расфокусировался, и глаз исчез.

Воспоминание о случившемся вслед за этим до сих пор вызывает у меня содрогание. Мне вспоминается сцена из старого фильма-катастрофы, где была показана изнутри кабина врезающегося в океан «Конкорда» — лобовые стекла за долю секунды превращаются в фонтаны сверкающей воды, сносящей на своем пути все.

Стоящее передо мной зеркало вдруг словно врезалось на огромной скорости в океан — или это поверхность океана с той стороны стекла со страшной силой ударила по зеркалу и мне, расшибла нас взрывом и разорвала на атомы...

Когда я пришел в себя, я лежал на полу в центре комнаты. У меня болела неловко подвернутая нога, но я был цел. Зеркало тоже выглядело целым —

и кое-где на нем даже виднелась пыль, из чего следовало, что случившийся передо мной взрыв был просто галлюцинацией. Или, тут же возникла в моем сознании мысль-противовес, взрыв был настоящим, а галлюцинация — то, что я вижу сейчас...

Я встал и посмотрел в открытую дверь балкона. Был виден близкий дом напротив, окно чужой кухни. В нем копошилась у плиты грудастая женщина с агрессивным румянцем во все лицо. Она уколола себя в палец ножом — и наморщилась от боли.

Ее звали Мария Львовна. Ей было немного за сорок, у нее имелся муж и двое детей. Мужа она ненавидела за маленькую зарплату и большой член (да, бывает и такое), детей скорее любила — но проявлялась эта любовь тоже как ненависть, и они ее боялись. Она была родом из Костромы, выросла на берегу Волги, в детстве ей подарили пластмассовый велосипед с тремя красными колесами — и один раз, когда она на нем катилась по лесной тропинке, ей на руку села удивительно красивая оса с длинным брюшком и с почти человеческим остервенением вонзила жало прямо ей в палец...

Мое внимание за секунду провалилось в память этой женщины по какой-то странной избирательной траектории, минуя множество спрессованных событий — прямо в ту точку, где возник эмоциональный рефлекс, исказивший ее лицо. Она сама даже не знала, что переживает это давнее происшествие заново — а я знал.

Я знал много другого. У нее было плохое настроение из-за только что кончившегося скандала с привлечением милиции: она обвинила живущего за стеной соседа (математика из института им. Стеклова, это мне тоже откуда-то было известно) в педофилии и русофобии — на основании прилежавших из-за стены звуков. Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики — педофилы и русофобы.

А вот муж ей не поверил. Мало того, муж предложил ей написать заявление на другого соседа — обвинить его в некрофилии на основании полного отсутствия звуков за стеной: главный мент, сказал он, наверняка опять врубится. Это, может, было и смешно. Но она не смеялась. Муж хотел выглядеть иронично — а выглядел, на ее взгляд, просто жалко, потому что приносил домой меньше шуток. И кому нужны были его шутки...

Эти смысловые зигзаги возникали перед моим взором, как шоссейная разметка, несущаяся в свете фар под колеса. Я мог пойти по любому маршруту. Я все знал про ее мужа (преподаватель истории в каком-то закрывающемся институте). Я все знал про главного мента (тот сам страдал педофилией, поэтому его вердикту насчет математиков можно было доверять). Мало того, я мог за секунду провалиться (или обрушиться — так это ощущалось) к любому их переживанию, уже забытому ими самими. Сквозь их память я мог шагнуть к другим людям. И так сколько угодно раз. Это был беско-

нечный лабиринт, к любой точке которого я мог перенестись — как если бы впереди раскинулся светящийся город, а сам я сделался током, питающим его огни.

И все это промелькнуло в моем сознании за то время, пока я смотрел на стоящую у плиты женщину в окне напротив. А как только я зажмурился, наваждение кончилось.

Я опять открыл глаза.

Все вокруг оставалось как прежде. Передо мной была серповидная подушка для медитации, коврик для йоги и стоящее у стены зеркало...

Коврик и подушку я купил в свое время через Интернет. Но теперь я знал, откуда их привез курьер (магазин со странным названием «Йожимся!» — если знать нужные слова, можно купить курительные смеси, владелец использует одну из продавщиц в качестве персональной strapon-шакти). Я знал, где сделана серповидная подушка (подвальная мастерская, где шили чехлы для мебели и матрасов — для них это был мелкий приработок). Я даже смог увидеть гречишное поле, где зародилась шелуха, которой набили подушку.

Коврик был из того же магазина, но передо мной его успела два дня поюзать одна девушка с великолепной растяжкой — она вернула его в магазин, потому что для нее он оказался слишком толстым и мягким, а в магазине коврику вернули девственность, запаяв в пластик.

Зеркало... Вот про него я почти ничего не видел. Оно было очень старым, и все, кто его сделал, давно умерли. Я смог различить какой-то полосатый

фартук, руки во вьевшейся грязи и стоящие у стены деревянные рамы — видимо, в мастерской. Но это видение напоминало обрывок старой и плохо сохранившейся фотографии.

Даже паркет попытался вновь стать умирающим под пилами лесом — и рассказать про своих убийц. Я остановил его лишь огромным усилием воли.

Мир изменился. И как!

Из моих слов может показаться, что это приключение было занимательным и веселым. Но я переживал его иначе — я чувствовал себя ныряльщиком, окруженным стаей агрессивно настроенных рыб, в которых превратились все без исключения предметы. Каждая из рыб хотела ворваться в мой ум и проглотить его. Для этого мне достаточно было остановить внимание на любом из окружавших меня объектов и чуть-чуть ему поддаться.

Подойдя к окну, я посмотрел во двор. Там ходили люди — и я по очереди впустил их в себя, пережив за минуту столько эмоций (довольно, впрочем, однообразных — все люди сколочены из одинаковых досок), что к концу этого короткого трипа вообще перестал понимать, кто я такой на самом деле. Мое прошлое ничем не отличалось от их прошлого — разница была только в том, куда направлено мое внимание.

Сделав еще несколько опытов с неодушевленными предметами (стоящая во дворе красная машина, луковка далекой церкви, мусорный бак, после которого мне расхотелось эксперименти-

ровать дальше) и с птицами (мне стало ясно, почему животным раньше отказывали в душе — они ничем не отличались от того, что с ними происходило, в то время как люди несли в себе обособленный, клокочущий и никак не связанный с окружающим мир), я окончательно понял, что мне совсем не нравятся эти информационные инъекции.

Они были не то чтобы болезненными, нет. Они были слишком назойливыми. Врывавшееся в меня переживание каждый раз оказывалось новым, оглушительным и настолько ярким, что напоминало взрыв светозвуковой гранаты в голове.

Я, к счастью, мог сопротивляться этим вторжениям, удерживая наведенные на меня со всех сторон острия бесчисленных смыслов. Я мог выбирать, чему поддаться, а чему нет. Но стоило мне расслабиться, забыться — и равновесие нарушалось. Одна из пик, как бы вобрав в себя общее давление всего мира, протыкала мою защиту — и я исчезал, превращаясь то в дерево, растущее сквозь человеческие кости, то в просиженную тысячью советских задниц каменную скамью, то в торчащий из мусорного бака сапог, полный тайн своей одинокой госпожи и ее ротвейлера.

Мне не пришло в голову ничего лучше, чем съесть три таблетки снотворного — и запить их водкой из холодильника («смирновка» оказалась паленым продуктом осетинских водочных баронов, один из которых как бы поцеловал меня небритым вонючим ртом в тот самый момент, когда я выдыхал воздух после глотка). Потом я залез под

одеяло, зажмурился и отталкивал от себя любые попытки вселенной пробраться в мой череп до тех пор, пока меня не накрыл черный медицинский сон.

Сначала этот сон был просто глубокой ямой, похожей на могилу. Мне нравилось в ней лежать, потому что мои чувства отключились и перестали меня терзать. А затем меня посетило очень четкое и ясное сновидение. Слишком четкое — я ни секунды не сомневался, что вижу происходящее в реальности.

Я увидел полутемную комнату (что-то вроде высеченного в скале зала), где стоял высокий каменный трон — строгой формы, без всяких украшений. На нем сидела восковая кукла человека. В ней я сразу же узнал себя — несколько, впрочем, идеализированного.

В стене напротив восковой куклы был прямоугольник светящегося стекла. Я догадался, что передо мной то самое зеркало, возле которого я столько времени провел в полулотосе, — но видное с другой стороны. Из полутемного помещения, откуда я смотрел, казалось, что за стеклянным прямоугольником — бассейн жидкого света, бросающий в каменный зал приятно дрожащие прохладные блики.

По бокам моего воскового двойника стояли два человека в масках. Маски эти походили на венецианские полуфабрикаты до окончательной окраски — они были белыми и изображали простые правильные лица с мягкими чертами, без всякого особенного выражения. На незнакомцах были

длинные накидки из сероватой ткани, которые идеально подошли бы и современному хирургу, и древнему египтянину.

Они делали с моей восковой копией что-то странное. Сначала один завязал мне глаза широкой полотняной лентой. Потом он же прилепил в центр моего лба большой открытый глаз. Второй участник процедуры наложил мне на шею под кадыком другую восковую заготовку — красные полуоткрытые губы. А затем первый приклеил на мое солнечное сплетение бледное восковое ухо. Каждый раз, когда их руки трогали моего двойника, я чувствовал прикосновение — на лбу, на шее и в районе груди.

Закончив, оба они повернулись к зеркалу, синхронно поклонились ему — и так же синхронно сказали:

— Киклоп!

Я понял — они обращаются ко мне, а слово «Киклоп» значит то же самое, что «циклоп». Просто это было старинным произношением. Мне показалось, что моих ушей достиг какой-то древний звук, носящийся над миром со времен Трои — если не дольше.

Я уже знал, кто эти люди в масках. Это была Свита. Но мне не следовало пока думать о них, чтобы не тревожить их зря своими мыслями. Это я знал тоже.

Дальше была чернота.

Придя в себя (я спал почти до середины следующего дня), я понял, что мои проблемы не кончились.

Какое там.

На простыне передо мной лежало выпавшее из подушки перо. Обычное перо.

Мой ум, оттолкнувшись от него, скакнул в зловонный ад птицефабрики, вынырнул в ее дирекции (где царило не меньшее зловоние, только другого рода) — и, после нескольких безумных кульбитов в чужих головах, открыл тайну одного забытого громкого убийства (и заодно — тайну убийства исполнителя: совсем тихо, через удушение). Вслед за этим в мое сознание с кудахтаньем и вонью ворвалось множество корпоративных секретов российского бизнес-сообщества, от которых я точно так же не успел увернуться...

Но я уже знал, что мне следует сделать. У меня имелась на этот счет спокойная и уверенная ясность, вынесенная из глубин сна. Я не помнил, привиделось мне такое решение или кто-то его мне внушил — но я понимал, что это единственный оставшийся выход.

Мне надо было совсем отбросить сопротивление и позволить миру полностью заполнить мой ум. Следовало не отталкивать протыкающие мое сознание смысловые лезвия, а пустить их в себя — все сразу. Я знал, какого рода усилие потребуется. Это было примерно как выйти из-под протекающего навеса под дождь. Или как прыгнуть из ледяной стужи в чернеющую на льду прорубь.

Выбора у меня на самом деле не было — иначе моя жизнь стала бы невыносимой. Любое перышко в поле моего зрения могло разорвать мне череп. Я не смог бы всю жизнь фехтовать с этими краду-

щимися ко мне со всех сторон откровениями — они превратили бы меня в подушечку для булавок.

Надо было решаться. И все-таки я провел в сомнениях всю первую половину дня.

Мне дал пинка холодильник, куда я полез за едой (я не знал, что корейский сборочный конвейер так похож на ленту выдачи багажа в провинциальном аэропорту, а работающие на сборке люди так фундаментально несчастны).

Душ окатил меня страшной правдой о состоянии районного водопровода (после чего у меня возникло желание вымыться еще раз какой-нибудь другой водой).

Даже дверь в ванную успела сообщить мне о пьянстве, которому предаются усатые и краснорожие инженеры испанских мебельных фабрик, из-за чего неправильно просушенный лак трескается потом мелкой сеткой.

Творог и итальянское оливковое масло (не вполне оливковое и не очень итальянское — итальянской на сто процентов была только мафия, подогнавшая из Туниса левый танкер с канолой¹) проделали такой мучительный и не всегда гигиеничный путь к моей тарелке, что я не знал, как буду их есть дальше. А чай... Нет, лучше бы я не видел, кто и как сгребает его в кучи.

В общем, выглядело это так, словно мир перестал меня стесняться — и показал мне свой срам. Даже не срам, а все свои бесчисленные срамы:

¹ Канола — растительное масло, которым иногда разбавляют оливковое. — *Примеч. авт.*

разложил перед моим лицом тот самый многочлен, который так ужасал, помнится, заинтересовавшихся математикой красных кавалеристов. Но с ними это происходило в анекдоте, а со мной — в реальности. Мало того, многочлен бил меня своими отростками со всех сторон, стоило мне лишь чуть-чуть потерять бдительность.

Ясновидение было адом. Следовало сдаваться.

Я догадывался, что пути назад не будет. Последние секунды перед моим прыжком в неизвестное были по-настоящему страшными — они походили на ступени, по которым я поднимался на эшафот. Как любого смертника, меня тянуло оглянуться — и последним приветом из покидаемого мною мира, помню, оказался лежащий на углу стола айпэд. Пропитанный такой американо-китайской потогонной безысходностью, что я даже как-то перестал переживать за себя лично.

И я шагнул прямо в точку невозврата: отбросил свой невидимый щит и позволил миру заполнить меня целиком, со всех сторон и сразу.

ПРОРОК

Поэты тоже обладают подобием всезнания и ясновидения. Но они не смотрят на мир из окна своей башни, а валяются на поэтической кушетке, глядя в потолок, куда падают отблески столь милых им закатов. По этой причине они отражают происходящее за окном очень своеобразно. Они в курсе, что по небу плывут тучи, но их форму и направление движения представляют не вполне.

И тем не менее.

У Пушкина есть стихотворение «Пророк».

В детстве, надо сказать, я не относился к этому произведению серьезно, поскольку оно присутствовало в школьной программе — куда входит, как всем известно, только рыбий жир, полезный, но совершенно невкусный. Но с этим стихотворением у меня была отчетливая кармическая связь.

В восьмом классе, цитируя его в сочинении, я написал «игорный ангелов полет», вместо «и горний». Учительница литературы, зачитав это место хохочущему классу, язвительно заметила, что сочинение было не по Достоевскому, а по Пушкину — но вряд ли многие поняли ее сарказм.

А я, принеся домой двойку с минусом, выслушал от мамы утешительную историю из ее собственного детства, когда за пушкиниану вообще можно было уехать на лесоповал, и надолго: мамин одноклассник, еврейский мальчик Миша, декламируя это стихотворение на школьном утреннике, оговорился и произнес «шестиконечный серафим на перепутье мне явился» — вместо «и шестикрылый». После чего беднягу месяц таскали по райкомам и горкомам комсомола, с фрейдистской пронизательностью прозревая в рыжеволосом отличнике будущего рефьюзника и сиониста. Что, возможно, и сделало Мишу здоровым антисоветчиком, победоносным эмигрантом — и, в конечном счете, обгоревшим трупом в танке.

Так вот, в этом стихотворении есть действительно пророческие строки. Герой описывает свое общение с ангелом следующим образом:

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон...

Здесь верно каждое слово. Причем удивительно точны и последовательность переживаний, и их содержание. Даже непонятно, каким образом поэт обо всем узнал.

Как только я перестал сопротивляться, что-то коснулось моих глаз. Как будто мне безболезненно отрезали веки — и я уже не мог закрыть глаза и перестать видеть. То, что я видел, не поддавалось никакому нормальному человеческому пониманию. Это было похоже на мерцание, наводящееся в зрительном нерве, если зажмуриться, но усиленное во много раз.

Так могла бы выглядеть абстрактная мультипликация на ускоренной перемотке. Я не видел никаких «ужасов» — ужасное заключалось в том, что от этого зрелища нельзя было спрятаться. Я не мог забыться в темноте. Словно бы с меня сорвали толстое ватное одеяло, под которым я когда-то был зачат, родился и вырос — и разбудили навсегда.

Затем давление переместилось на уши. И здесь Пушкин высказался до того точно, что к его словам почти нечего добавить. Шум и звон, да.

Шум походил на рокот, раздающийся в морской раковине, когда прикладываешь ее к уху. Только он был намного громче и басовитей, как

если бы в раковине действительно ревело шумящее море. Сквозь этот рокочущий низкий звук пробивался другой, нежный и мелодичный: будто бы звон крохотных шестеренок и шатунов, какой-то тонкой бронзовой механики — причем механизмов в этом пространстве было много-много, и очень непохожих друг на друга: все они тикали с разной скоростью. Звон казался удивительно осмысленным — я почти понимал его, словно это был древний язык.

А потом случилось еще одно событие, о котором Пушкин не упомянул. Давление с моих глаз и ушей переместилось на затылок и как бы продавало его, мягко вмяв мой череп до самого центра головы — и какие-то разъятые части моего мозга (я до этого не знал, что они разъяты) выгнулись, соединились между собой и даже как бы защелкнулись, прочно зацепившись друг за друга.

Я понимаю, как это странно звучит, но так оно и было. И мне понятно, почему Пушкин молчит: попробуй найди для такого внутреннего щелчка удачное сравнение (мне приходит на ум только английский замок — но не ставить же его, право, в голову нашему русскому пророку, заключают конспирологи). Так что претензий к Пушкину у меня нет. Но все же, по-моему, не следует использовать стихи в качестве «зеркала эпохи» — поэты часто недоговаривают.

И вот после этого засекреченного Пушкиным щелчка и случилось самое интересное. То невообразимое, яркое, быстрое и пестрое, что мельтешило перед моими глазами, вдруг вошло в синхрон со

звонящим гулом в моих ушах — и, став одним целым, совершило несколько невообразимых пульсаций, каждая из которых заставила меня умереть и возродиться в свете и грохоте (я даже не пытаюсь все это описывать подробнее, обычный человек отключится гораздо раньше, чем такое восприятие сделается возможным).

А потом, через миллиарды лет, когда я уже успел забыть, кто я такой (или, вернее, когда я успел вспомнить, что никогда этого и не знал), все снова стало одним целым.

Первым, что я ощутил, было облегчение.

Мой план сработал — вызванная принудительным ясновидением мука ушла. Ворвавшись внутрь, знание всего обо всем как бы свело себя почти до нуля, уравновесив приложенное ко мне снаружи давление таким же внутренним. Лодка приняла в себя балласт и больше не рисковала перевернуться. Теперь я мог спокойно смотреть по сторонам, не опасаясь нацеленных на меня информационных стрел и стилетов.

Но вместо одной проблемы появилась другая.

Бывают такие визуальные шарады: лист, густо замалеванный зигзагами и пятнами, с подписью вроде «найдите на рисунке молодую женщину с веером». Когда находишь эту молодую женщину, делается непонятно, почему она не была видна с самого начала — и уже невозможно перестать ее видеть. Вот и со мной произошло нечто похожее, только вместо женщины с веером в мой ум ворвалась вся вселенная — качнулась несколько раз и застыла.

При этом она каким-то образом опиралась... на меня самого. Словно бы весь мир был огромным разрисованным блюдом, дно которого балансировало на вершине конуса — и этим конусом был мой ум.

Как там дальше у Пушкина?

И вял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Снова все верно.

Только надо расшифровать, что поэт имел в виду.

Я ощутил вселенную как огромное неустойчивое равновесие. К ней были приложены как бы две разные воли, два разных смысловых знака — и приложены с таким усилием и мощностью, что «небо» содрогалось на самом деле. В действительности, конечно, воля в мире существовало невообразимое число, и были они всех возможных направлений и видов. И каждая из них знать ничего не хотела об остальных. Но вместе они складывались в два расширяющихся друг о друга потока.

Один из них хотел быть. Другой — не хотел быть. Или, может быть, правильнее — хотел не быть. Они вступали друг с другом в смертный бой, смешивались, сжигали и вымораживали друг друга — и снова возникали друг из дружки, стоило лишь одной из этих сил достаточно сгуститься. В общем, если вы видели китайский знак «Инь-

Ян», то на космическом блюде был начертан именно он.

И уже сверху были добавлены моря и горы, небо со звездами, леса и реки — и мириады живущих в них существ. Дальше начинался космос, он уходил во все стороны и устроен был именно так, как учат в школе — но я сразу ощутил некоторую его, что ли, необязательность.

Мир, который на меня свалился, оказался на самом деле совершенно библейским. Он состоял из воды и тверди, и, хоть они действительно хитро загибались в земной шар, Земля, в полном соответствии с учением церковных мракобесов, была плоской, потому что сознание, опиравшееся на эту твердь, переживало ее именно как плоскость, а круглым шаром она могла стать только тогда, когда переставала быть твердью под ногами и становилась синим бликом в иллюминаторе космической станции. Но в иллюминаторе синела уже не сама земная твердь, а просто ее визуализированная концепция.

Центром Вселенной оказалась действительно Земля. А все солнца, звезды, галактики, квазары и прочие черные дыры были только существующей в мире возможностью, и чем дальше от меня располагалась эта возможность, тем менее реальной она выглядела.

Наверно, я говорю не совсем научно — или совсем ненаучно — но я просто пытаюсь описать реальность так, как я ее ощутил, когда стал Киклопом. Так же ее, видимо, ощущали и все предыдущие Киклопы, отчего человеческое яснови-

дение никогда не вступало в конфликт с самой обскурантистской картиной мира.

Мой мир состоял не из предметов, а из зыбких, постоянно меняющихся вероятностей. И если вероятность пола под моими ногами была сто-процентной (минус какая-то исчезающе малая величина, которую можно было забыть), то вероятность бесконечных катастроф пространства, чудовищными водопадами рвущихся назад к началу времени (так я ощутил самые древние и далекие космические объекты), была нулевой (плюс какая-то исчезающе малая величина, про которую тоже можно забыть).

Вероятность, про которую я здесь говорю — чисто бытовая, житейская и практическая. Не было способа ощутить любую из этих космических ламп не как точечный светильник в небе и элемент божественного дизайна (пусть даже с длинным техпаспортом), а как нечто иное. Такой объект существовал не в моем мире, а в его гипотетическом прошлом, откуда прилетал свет — то есть он был чем-то вроде скелета динозавра, намалеванного в небе для красоты.

Все это было на самом деле совершенно нереально — хотя элементы нереальности соотносились друг с другом безошибочно и точно, и разобраться в этих световых окаменелостях не хватило бы и жизни. То, что я понял про космос, можно было сформулировать примерно так: реальность ископаемых космических объектов обратно пропорциональна кубу расстояния до них.

Можно и квадрату. Просто куб мне больше нравится, потому что от него больше пользы в быту. Ибо реальность, как знает любой обыватель, это то, с чем вы можете когда-нибудь столкнуться.

Все, больше никаких уступок научному мировоззрению. Я сразу понял: религиозные мракобесы были правы, и Бог сначала увидел перед собой черное зеркало со своим отражением, потом по нему прошла рябь и оно стало водой, затем возникла твердь — а потом уже Он нарисовал над этим миром всю небесную сферу с ее законами, историей, скоростью света, красным смещением, синим свечением и мумиями нобелевских лауреатов, вечно летящими в туманность Альцхаймера сквозь сворачивающееся пространство угасающего ума. Причем нарисовал так, что Земля стала просто пылинкой в этом потоке.

Наш Бог (если Он есть) не физик.

Бог скорее художник — и большой шутник. Чтобы не сказать — хулиган из группы «Война», создавший Вселенную, чтобы написать на ней неприличное слово.

Причем каждая из его шуток становится непреодолимо серьезной для тех, кто хочет познать Его через физику — и в этом, я бы сказал, заключен особо жестокий сарказм. Потому что пройти к Нему можно и через двери физики, вот только лететь до дверной ручки нужно будет пятнадцать миллиардов лет, и то — если удастся разогнаться до скорости света.

Мало того, Бог не только шутник, он и сам шутка. Ибо в реальности — не той, что светится

в этом черном планетарии над нашими головами, а в настоящей, по отношению к которой весь видимый мир есть лишь зыбкая тень, пузырится огромное число возникающих и исчезающих миров, и у каждого есть свой Бог, и над каждым поднят черный балдахин своего космоса с удивительной древней вышивкой, и среди этих вышивок нет двух одинаковых.

И дело не в том, как устроен космос и всевластен ли Бог, а в том, что любой такой всевластный и всемогущий Бог — это, если я позволю себе поэтически воспользоваться современным научным жаргоном, просто царек микроскопического одиннадцатимерного вероятностного пузырька, тайно раздутого до размеров трехмерной иллюзорной Вселенной, общая энергия-масса которой равна нулю. Несчетное число таких богов и создаваемых ими вселенных рождается и исчезает в каждом кубическом миллиметре шанса каждую секунду, и в любом пузырьке спрятана своя нелегальная вечность. Бесконечный рой Иегов и порождаемых ими космосов, и каждый Иегова единственный, и каждый оглушительно хохочет. Но стоит только чуть-чуть скосить глаза, и никого из них уже нет.

Все вечности и их владыки идут по одному непостижимому пути — но мне не позволено сфокусировать на нем свой взгляд, и брезжащая на периферии сознания догадка о существовании этого пути и есть тот единственный способ, которым он может быть познан.

Но это просто нарисовано в небе, а важно в мире то, что происходит сейчас и здесь. Остальное —

декорации. Вселенная существует в нас, и только в нас. Все галактики и квазары, смещения и дыры, ангелы и боги не где-то там — а вот именно тут. Если не станет человека, не будет и его вселенной. Будут, возможно, другие, но уже не с нами и не для нас.

Все это за долю секунды прошло через мой потрясенный ум — и я засмеялся, потом заплакал, а потом засмеялся опять. Это и было содроганием неба.

И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Да-да. Под совершенно реальным, но декоративным космосом покоилось блюдо мира — огромный Инь-Ян, о котором я уже говорил. Две его противоборствующие силы были живыми: они состояли из множества упертых друг в друга воль, бесконечно могучих и еле осязаемых — начиная с богов и кончая поедающими друг друга инфузориями, и каждая из этих воль, какой бы крохотной она ни казалась, содержала в себе все содрогание неба.

Самое поразительное заключалось именно в этом. В том, что прозябание любой «дольней лозы», о которой не задумается и муравей, содержало в себе немыслимую битву величайших ангелов и демонов мира. Оно было как бы вычитанием нижней бездны из верхней — и крохотная разница между ними и становилась этим «прозябаньем». То же относилось ко всему живому.

И когда какая-нибудь одинокая, нищая и забытая всеми старуха плачет в своей конурке, поняв с благоговением, вся огромная неизмеримость содрогается и плачет вместе с ней, и в этом самое удивительное и поистине божественно страшное.

Мне было неясно, зачем эта сила вошла в мою душу, показав мне то, что не следует, скорей всего, знать человеку. А потом баланс мира, который я держал на гвозде своего ума, чуть-чуть сместился, и я понял.

УДАР ЗОНТИКОМ

На огромном космическом блюде часто происходило — или, вернее, набухало, грозило произойти (я даже не понимал сперва, что вижу будущее) — какое-то событие, нарушавшее общий порядок мироздания. По непонятной причине всегда только одно.

Сначала эта единичность казалась мне паразитической, но, поразмыслив, я перестал удивляться. Ведь любое равновесие, нарушаясь, смещается куда-то конкретно, в одну сторону — а не во все сразу. Но выглядело это тем не менее странно.

Равновесие, о котором я говорю, не физическое, а баланс тех самых живых волей, составлявших все разнообразие человеческого мира (за другие сферы реальности я, к счастью, не отвечал).

Человеческий мир сохраняется, потому что эгоистические и безрассудные действия людей, преследующих собственные цели, удивительным — и совершенно анекдотичным на первый

взгляд образом — нейтрализуют и компенсируют друг друга.

Поток нашей истории состоит не из осмысленных действий «субъектов», движущихся к своей цели, а из переплетения мириад причинно-следственных связей, бесконечно древних, совершенно бессмысленных в своей пестроте — но управляющих ходом жизни. И в этих связях (индусы называют их кармой), несмотря на всю их нелепость, нет ни малейшей случайности, потому что они развивают и продолжают тот импульс, который дал когда-то начало миру.

Но во всякой сложной системе иногда возникают сбои и перекосы. Их, к счастью, почти всегда можно выправить — так же, как мы удерживаем равновесие, катаясь на велосипеде или коньках.

Я чувствовал тонкий баланс человеческого мира примерно как стоящий на канате циркач, держащий на носу трость и жонглирующий кеглями — только на моем носу был весь цирк, и это не зрители глядели на меня (они обо мне даже не подозревали), а я на них. Когда равновесие чуть нарушалось (такое происходило почти каждый день), мое внимание тут же устремлялось к той точке зрительного зала, где это случилось, а остальное исчезало в тени. Я видел, что мне нужно сделать, даже не вникая в суть событий.

Попытаюсь объяснить, что я имею в виду, на условном, но зато всем понятном примере (о реальных случаях своего вмешательства я, увы, не могу говорить по правилам служебного кодекса).

Бывают кинокомедии (и фильмы ужасов тоже), в которых прослеживаются очень длинные причинно-следственные связи. Например, брошенный с киевского балкона окурок попадет на воротник сотнику Гавриле, переходящему дорогу. Имя в данном случае тоже условное: у Ильфа и Петрова, помнится, кто-то из героев писал «Гаврилиаду» — поэму о бесконечном многообразии возможных истоков Первой мировой. Вот и я о том же.

Гаврило останавливается и начинает чистить камуфляж. Его сбивает вылетевший из-за угла грузовик с покрышками, Гаврило в тот вечер не выходит на трибуну майдана, Янукович еще на полгода сохраняет свой золотой батон, Крым остается украинским, Обама не обзывает Россию региональным бастионом реакции, и все остальные колеса истории, большие и малые, не приходят в движение. Направление, в котором сместится равновесие мира, зависит от того, попадет ли окурок в сотника в нужный момент.

Представим себе, что из-за возникшего в мире дисбаланса стоящему на балконе курильщику, уже дотягивающему свою сигарету на февральском ветру, собирается позвонить ушедшая по революционным делам жена, из-за чего курильщик не затянется в последний раз и окурок полетит вниз слишком рано.

Жена курильщика, готовая сделать роковой звонок, ушла на самом деле не жарить пирожки для воинов света, как наврала мужу — она спустилась на другой этаж, где ее трахает приезжий

активист из Тернополя. Этот активист еще может спасти братство славянских народов, если закончит процедуру на полминуты позже и звонок опоздает...

Но для этого жена курильщика должна выглядеть менее привлекательно — у нее под глазом должен быть замазанный тональным кремом синяк... Который ей три дня назад могла поставить вредная гражданка, поспорившая с ней в метро о месте Симона Петлюры в украинской истории... Но для этого у вредной гражданки должен быть с собой тяжелый зонтик с синей ручкой, совершенно не нужный нормальному человеку в феврале.

И так далее, без начала и конца — подобные связи уходят в прошлое и будущее бесконечно далеко.

Когда я чувствовал, что хрупкий баланс мира готов нарушиться, главное было обнаружить и исправить сбой как можно раньше. Например, в тот момент, когда собирающаяся на улицу вредная гражданка глядит на зонтик и думает: «Брать или не брать?»

Мне не нужно было знать, зачем ей зонтик в феврале. Мне не следовало разбираться в политических взглядах сотника или вникать в отношения балконного курильщика с женой. Мне ни к чему было выяснять, какие женщины нравятся тернопольскому активисту. Спрессованное до мгновенного инстинкта узнавание сути указывало мне: вредная гражданка в городе Киеве раздумывает, брать ли с собой зонт — и от этого в будущем может случиться много неожиданного. Если она

положит зонт в сумочку, мир будет одним. А если нет, он будет другим.

Сбой мог возникнуть именно в этот момент. А исправить его можно было и потом, тысячью разных способов: по линии тернопольского активиста, по линии курильщика, по линии шофера грузовика и по множеству других вплетенных в эту историю траекторий и маршрутов, вплоть до самого сотника Гаврилы. Целые гроздья возможностей возникали в моем наведенном в будущее уме. Я видел их слоями и фракциями — они делились на тяжелые и легкие. Легкие не оставляли за собой ряби — а тяжелые и грубые создавали новые проблемы, которые опять надо было решать — «гасить волну», как я это называл.

Я не знал ничего про связь зонтика с Крымом — хотя мог бы при желании проследить все причинно-следственные переходы. Но я так не делал. Я лишь чувствовал инстинктом, что равновесие мира проще всего уберечь, чуть поработав с этой совершенно незнакомой мне гражданкой и ее зонтом. Я не вглядывался в будущее без нужды, ибо всезнание было мучительным.

До какой степени, понять может только другой Киклоп. Из общеизвестных метафор, дающих об этом представление, мне вспоминается герой старого ужастика «Восставшие из ада» — демон, голова и лицо которого были утыканы маленькими острыми гвоздями, торчащими из кожи. Они, должно быть, вызывали невероятную боль при любом прикосновении. Если бы эти гвозди торчали не из кожи, а из обнаженного мозга и были

подключены к электрическим проводам, вышло бы еще точнее.

Мой дар был избыточен. Я мог залезть в шофера грузовика, в курильщика, в его жену, во вредную гражданку — но это было все равно что начать перебирать солому бесконечного стога, уже найдя в нем иголку, в то время как мой радар замечал в сене новые иголки, которые следовало вытаскивать.

Поэтому на моем всеведении сразу же натерлась своего рода мозоль. У человеческого глаза есть «слепое пятно» — зона напротив зрительного нерва, не воспринимаемая глазом. У меня развилось подобие такого пятна. Оно закрывало почти всю область возможного — кроме той части, где равновесие мира грозило сместиться. Я мог не обращать внимания на остальное. И если бы не это счастливое обстоятельство, я просто сошел бы с ума.

Я чувствовал будущий дисбаланс как набухающий на мировом блюде прыщик и давил его в зародыше, но прыщ, чуть выждав, норовил вскочить на новом месте. Можно было считать все прыщи разными, но мне отчего-то казалось, что это один и тот же блуждающий нарыв, поочередно пробувающий на прочность разные точки мира.

Поэтому, несмотря на всю грандиозность пережитых мною видений, в практическом смысле моя функция была довольно скромна. Мало того, я отвечал не за всю вселенную, и даже не за весь человеческий мир, а только за небольшой его участок, географически совпадающий с русскоговорящими территориями («глагол», о котором я сейчас

расскажу, был как-то связан с языком — здесь мое доброе увещевание слышали лучше).

Но иногда мне приходилось исправлять искажения, возникающие и за этими пределами, из чего я заключил, что Киклопов в мире как минимум несколько, и иногда они дублируют друг друга. Увидеть других я не мог, из чего следовало: у моего ясновидения есть границы.

Позже оказалось, что границы действительно существуют — и они значительно уже, чем я предполагал.

ГЛАГОЛ

«Пророк» Пушкина кончается так:

Исполнишь волею моею
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Воля, которой я исполнился, была очень простой — человеческому миру следовало оставаться в равновесии, то есть развиваться по своему исходному плану. Когда на пути этого плана возникали препятствия, я чувствовал их сразу — и мне следовало расчищать дорогу. Но я уже достаточно рассказал о проблеме и ничего не сказал о том, как она решалась.

Мне, конечно, не требовалось обходить моря и земли, как надзирателю свой околоток. Довольно было обводить их мысленным взглядом, не сдвигаясь с места. А вот насчет «жги», да еще и «сердца» — тут Пушкин чуть сгустил краски.

Как я уже сказал, зоной моей ответственности были события в человеческом мире. Инструментом, с помощью которого я влиял на людей, мне действительно служило нечто вроде «глагола» — и другой термин я даже не стану искать.

В голове обычного человека раздается множество голосов, которые он сам не сознает. Можно сказать, что в подвале человеческого ума постоянно происходит воровская сходка, где, собственно, и решается судьба всего дома. Эти голоса постоянно спорят между собой. Пока они говорят разное, крыше ничего не слышно — она лишь ощущает легкую нервозность. Потом несколько таких голосов соглашаются о чем-то друг с другом и начинают говорить в унисон. Тогда их общая громкость делается достаточной, чтобы их стало слышно наверху — и они становятся командой.

Обычный человек не то чтобы слышит голоса — он им подчиняется. Еще точнее, он и есть эти голоса, поскольку до того, как команды начинают выполняться, никакого человека просто нет: личность возникает именно в процессе их воплощения в жизнь.

Если же человек по какой-то причине слышит эти голоса все время, его или объявляют шизофреником и изолируют от нормальных людей, или назначают пророком и сажают в золотую колесницу. Но это, в общем, известно.

Можно долго спорить о природе таких голосов. Раньше считали, что они принадлежат богам, духам, ангелам и бесам. Потом их стали назы-

вать интериоризованными социальными кодами, фрагментами управляющих человеком программ, инвариантами иерархически обусловленной матрицы поведения и так далее — но сами голоса от этого не изменились ни разу.

Дело, однако, не в том, как я их буду называть.

Дело в том, что я мог зайти в этот подвал к любому человеку — и, совершенно незаметно для него, заговорить на его внутренней воровской сходке не особенно громким, но очень убедительным голосом такого тембра, что все остальные участники сразу же начинали соглашаться, подпевать, подвывать и подблеивать. В результате человек не то чтобы слышал меня — он слышал себя.

Он вовсе не подчинялся моей команде, он самым естественным образом спешил выполнить сильнейшее желание, вдруг возникшее в самой сердцевине его существа. Поскольку это было его собственным желанием, ему и в голову не приходило подвергнуть происходящее сомнению. На такое способны только некоторые созерцатели — но с ними, по счастью, я практически не имел дел, ибо их сердца пребывают далеко от путей этого мира.

Так вот, если вернуться к нашему примеру — допустим, мне требовалось, чтобы вредная гражданка взяла зонт. Тогда «глаголом жги сердца людей» заключалось в банальном «женщина, возьми!». Говоря совсем точно, слова «женщина» там не было. Войдя в чужое сердце, я всегда изъяснялся в первом лице: «мне таки нужен зонт» — а вслед

за этим и появлялся тот зыбкий голем, которому зонт был нужен. И все.

Никакого дыма, никаких кардиологических ожогов. Женщина вспоминает, что ее тяжелый зонтик с синей ручкой — на самом деле замаскированная дубинка из трех связанных скотчем арматурных прутьев: вещь, крайне необходимая в судьбоносные времена. Она чему-то улыбается, кладет зонт в сумку, выходит из дома — и сквозь морозный туман и растворенную в нем революционную надежду направляется в будущее. Но я за ней уже не слежу.

Я мог бы, наверно, заработать кучу денег, играя на бирже. Но в один из первых сеансов моего общения со Свитой мне было разъяснено, что «глагол» может быть использован только по одному назначению — для устранения мировых дисбалансов. Карой за нарушение этого закона была смерть (мне показали длинную золотую иглу, а потом кивнули на моего воскового двойника).

Мало того, я не мог вмешиваться в самую чудовищную несправедливость, творящуюся на моих глазах. Я не имел права предотвращать преступления, останавливать теракты, тормозить кровавые революции, спасать людей от несчастного случая — подобное даже не обсуждалось. С точки зрения моей работы, реально угрожающие миру дисбалансы возникали вовсе не там, где их видели СМИ и я сам в своей человеческой ипостаси. Все это могло быть частью плана, по которому развивается мир. Мне следовало охранять не свои человеческие представления о должном, а суще-

ствующий порядок вещей — вернее, не сам этот порядок, а так называемую *связь времен* (позже я объясню, что это). В общем, я мог или принять правила, или уйти. Я их принял.

Вот и все, что касается Киклопа.

Если читатель ждет рассказа о том, как я спасал человечество в живописных битвах со злом, он будет разочарован — я больше не скажу про свою ежедневную работу ни слова, как и предупреждал в предисловии. И вовсе не из скромности.

Во-первых, говорить о конкретном содержании своей деятельности и ее технических аспектах подробнее, чем я уже сделал, я не могу — это часть правил. Думаю, это понятно. Тайны в нашем мире есть даже у компаний, всего-то навсего торгующих психотропной сахарной водой, подцвеченной экстрактом кошенильного червя.

Во-вторых, мое повествование от этого совершенно не пострадает. Хоть моя работа была крайне важна, назвать ее интересной трудно, поскольку я решал возникавшие проблемы самым экономным и неброским способом, чаще всего даже не зная, какие именно будущие дисбалансы я устраняю — как в примере с зонтиком. Рассказывать о том, как я шпаклевал трещины мироздания, помогая малознакомым людям завязывать шнуры, направлять лифт на нужный этаж или возвращаться домой за забытыми ключами по карнизу второго этажа (самое героическое, что могу припомнить), как-то скучно. Голливудского боевика из этого не выдоишь — приключения районного сантехника и то веселей.

И потом, почти любой человек бывает иногда техническим спасителем мироздания. Нельзя сказать, что в эти минуты он ощущает свою великую роль. Он делает свое дело буднично (поднимает с пола монету, толкает в спину зазевавшегося пешехода, роняет на мостовую бутылку с подсолнечным маслом) и ныряет назад в море неразличимых лиц. Каждый из нас — Лорд-Хранитель этого мира. Я был нужен только для страховки.

Поэтому интересно не то, чем я занимался в качестве Киклопа. Интересно даже не то, что я подглядывал в чужих сердцах и душах — повсюду прет довольно однотипный мусор, различается лишь форма куч.

Интересно то, что я увидел и понял, направляя свое служебное зрение на разные аспекты человеческой жизни — и будущего. Здесь мне открылось много любопытного, страшного и неожиданного. Именно об этом я и буду жечь глаголом на всех оставшихся страницах — в меру своих слабых сил.

СВИТА

Я знал, что я не единственный Киклоп на свете — и, конечно, не первый. Много тысяч лет они ходили по блюду этого мира — вернее, держали его на своем вытарашенном глазу. Это был, возможно, один из древнейших земных институтов, и существовали строгие правила, которые мне следовало выполнять. Правила не обсуждались. И еще они были довольно странными.

Я уже сказал, что не мог использовать свои силы в личных целях (или даже в соответствии со своими понятиями о добре и зле). Но это было еще не все.

Та уникальная и ни с чем не сравнимая роль, которую я играл в мироздании, подразумевала, кажется, льготы и преференции. Если любой газенфюрер, любой банкир или римский папа (а эти люди вовсе не решают возникающие во вселенной проблемы, а только создают их) живет в собственном дворце, в окружении личных гвардейцев, придворных поэтов и на все готовых танцовщиц, то я мог, как мне кажется, рассчитывать даже на большее.

Свой остров, пурпурная мантия, функционирующий по строгому и таинственному распорядку двор, лучшие сыны и особенно дочери человечества, ждущие, когда на них падет мой задумчивый взгляд... Скульпторы, состязающиеся за право высечь мой портрет в мраморе... Кантаты в мою честь... Белые голуби, выпускаемые на свободу в мой день рождения... И бесконечные заговоры.

Именно для того, чтобы всего этого не происходило, Киклопу следовало скрывать свою миссию и жить среди людей, затерявшись в одном из крупных городов. Он должен был вести средне-статистический образ жизни. Ему следовало быть незаметным для любого внешнего наблюдателя, скрупулезно и подозрительно изучающего нашу реальность (а такие наблюдатели существовали — позже я расскажу о них подробнее). Даже одино-

кая идиллическая жизнь на небольшом островке была слишком большим риском — подобные опыты ставили в прошлом, и кончились они известно как: встречей с изобретательным царем Итаки и другими активистами прогресса.

Впрочем, случай Полифема исключителен. Его несчастье связано с тем, что он был единственным Киклопом, отказавшимся от услуг Свиты. Тех самых людей в масках, которых я видел в своем покоем на сон видении. Я не собирался повторять его ошибку — да мне этого никто и не позволил бы.

Раз уж я упомянул Полифема, добавлю, что Киклопом был еще один из известных персонажей древности — его звали Чжуан-цзы, и именно на этом посту он почерпнул свои выдающиеся познания. Его жизнь после ухода на покой сложилась вполне благополучно. Киклопами были и некоторые пророки — но я не называю имен, чтобы меня не обвинили в святотатстве. А из широко известных современников в их число входил, например, умерший в начале века ученый Джон Лилли (о нем еще будет речь в этой книге).

Именно древние Киклопы и были источником прозрений о будущем человечества — а почему эти прозрения оказались такими противоречивыми и взаимоисключающими, я объясню.

Свита была очень почтенным институтом. Можно сказать, одним из тех тайных орденов, о которых постоянно пишут мастера международного иронического детектива с невысоким масонским градусом. Вот только охранял этот

орден не могилку Иисуса и не томик Платона — а меня.

Про Свиту Киклопу следовало знать лишь то, что она существует. Таково было древнее правило, необходимое как для моей собственной безопасности, так и для безопасности Свиты. Мне не следовало надолго останавливаться на ней луч своего всеведения. Я не знал точно, где расположены те комнаты и залы, что я иногда видел, и не старался этого выяснить.

Наше общение происходило незаметно для внешнего мира. Я не звонил никому по телефону, не назначал встреч. Я всего лишь следил за ходом мыслей нескольких сменяющих друг друга служителей, как бы державших передо мной нараспашку свои умы (искусство склоняться в мысленном взоре Киклопа каким-то особым почтительным способом — так, что я действительно ощущал чужое сознание как раскрытую книгу, — передавалось, видимо, из века в век).

Свита решала все возникавшие у меня проблемы. Причем с такой эффективностью, что я почти не чувствовал трения о быт. Мне не надо было никого ни о чем просить.

Эти услужливые умы как бы прокручивали передо мной список различных удобств, новшеств, возможностей и жизненных обстоятельств (все было довольно скромным), откуда я мог выбирать, используя тот самый глагол, которым жег в остальное время сердца гражданских лиц. Затем я точно так же выбирал метод нашей коммуникации из вера возможностей, возникавшего в их мыслях.

Я знал, как выглядит для членов Свиты наше общение — в своем медитативном сосредоточении они предлагали молчащей темноте вариант за вариантом, и темнота рано или поздно делала выбор. Вернее, выбор делали они сами — но в отличие от всего остального человечества они знали, что за этим стоит.

Для любого внешнего наблюдателя мое взаимодействие со Свитой просто отсутствовало. Но всего через неделю после происшествия у зеркала я собрал в сумку самое необходимое — словно уезжая ненадолго на дачу — и вышел из дома. На улице меня ждала машина, обычное такси. Я сел на заднее сиденье и, даже не глядя в зеркальце, где плавали глаза шофера, сказал:

— Поехали.

И машина повезла меня в новую жизнь.

Этот шофер не имел отношения к Свите. Он был водителем такси, приехавшим на обычный вызов. А я — обычным пассажиром.

Ожидающий меня новый дом мало чем отличался от старого, только квартира теперь была на последнем этаже, и из нее открывался вид на лес, одного взгляда на который мне хватало, чтобы снять постоянно копящуюся в моем сознании усталость. Это была простая городская квартира — тихая, удобная и большая. Кроме нее, на этаже имелась еще одна. Но там никто не жил, и я был избавлен от необходимости обсуждать политику и погоду в ожидании лифта — или открывать дверь соседскому ребенку, которому срочно понадобились ацетон, уксус и марганцовка.

В будние дни я выходил из дома примерно в десять часов, когда основная волна спешащих на службу граждан уже успевала стечь в подземные трубы. Я подходил к своей станции метро, спустился вниз и с двумя пересадками ехал в другой конец города по маршруту, линия которого напоминала мне абрис потухшего вулкана с глубоким кратером Кольцевой.

Добравшись до станции назначения, я поднимался на поверхность и шел на работу. У меня была работа, да, как и у остальных людей, спешащих утром по городу. И для внешнего наблюдателя все выглядело крайне убедительно. Сняв меня на камеру в любой момент моего трудового дня, он увидел бы обычную офисную креветку, занятую каким-то невнятным и, скорей всего, низкооплачиваемым делом.

В кадр попала бы оргтехника, чашка кофе, стол со скоросшивателями, плоский монитор и клавиатура — и сам я, в твидовом пиджаке, глядящий в этот самый монитор (или, к примеру, поливающий фикус на подоконнике). Еще в кадре мог оказаться украшающий стену ретрокалендарь (гневные красотишки с заклеенными желтым скотчем ртами — то ли политика, то ли принципиальный феминистический отказ в минете, то ли все это вместе: им запрещают одно, а они в ответ отказывают в другом), какой-то план-сетка со множеством заполненных ручкой граф и портрет Леонардо ди Каприо в роли плантатора, как бы повешенный туда размечтавшейся сотрудницей.

На самом деле моя работа была просто хитрым симулякром — ее не существовало. Я понимаю, что подобное может сказать про себя почти любой представитель креативного класса, но мои слова следует понимать не в переносном смысле, а в прямом. Моя работа была выстроена как симуляция изначально — она не имела отношения к внешнему миру вообще.

Мой маскировочный офис располагался в бывшем сталинском министерстве — просторном послевоенном здании, где сосуществовало огромное число самых разных контор. В мою комнату вела отдельная дверь из длинного коридора с раздолбанным (кажется, еще советским) паркетом.

С обеих сторон от моего кабинета размещались мутные московские конторы, где люди бессмысленно мучались с утра до вечера, испекая входящие и исходящие документы, подсиживая, кидая и динамя друг друга — а в тайном аппендиксе между этими вавилонскими печами, за столом с декоративными папками, возле исправно работающей, но такой же декоративной оргтехники сидел я.

Расстояние от меня до ближайшего офисного пролетария обычно не превышало пяти-десяти метров (самый близкий сидел прямо подо мной этажом ниже — его звали Кеша).

На внешней двери моего убежища, звукоизолированной с обеих сторон, висела выдержанная в общей стилистике этого здания красноватая табличка с желтыми буквами:

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОГИПРО
КИКЛОП О. К.
ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ

Ниже был подклеен скотчем какой-то список: слово «сдали» — и под ним длинный перечень фамилий. Этот список иногда меняла моя секретарша, вешая на его место какой-нибудь другой.

У слова «ОГИПРО» не было никакого смысла вообще. А вот фамилию «Киклоп» подобрали гениально — «Сидоров» или «Рабинович» вызывают понятные подозрения, а такая может быть лишь на самом деле.

За входной дверью начинался небольшой предбанник со столом секретарши — стол этот всегда пустовал. Секретарша приходила в те часы и дни, когда меня на работе не было, и я никогда не встречался с ней лично. Ей объяснили, что она нанята с целью сохранить «вторую инспекторскую ставку» (кто не поверит, услышав такое), а на деле ей надо только убирать офис и симулировать активность, вывешивая на дверь разного рода списки. И еще, конечно, она должна была следить за моей кофейной машиной.

Мой офис был прост и строг — стол с черным кожаным креслом, узкий диван, телевизор, кондиционер, личный туалет (скрытый за неприметной дверью — прямо как в ялтинском кабинете Николая Второго), стеллаж с папками, цветок в горшке. В скоросшивателях, кстати, действительно лежали документы с печатями и подписями, какие-то протоколы и разрешения — подозреваю, что с моей подписью. Секретарша приводила все это в убеди-

тельный рабочий беспорядок в те дни, когда меня не было. Ее же невидимые руки наполняли всякой вкусной мелочью небольшой холодильник.

Обед мне приносил в просторной сумке человек в форме курьера DHL. У него был свой ключ от двери. За ней он оставлял свою вместительную форменную сумку с едой — и забирал такую же, принесенную вчера. Соседи по этажу не сомневались, что работа за моей дверью бурлит, кипуче выплескиваясь на международный простор.

Стоявший на моем столе массивный эбонитовый телефон даже не был подключен к линии — и я отчего-то находил в этом особую и высшую привилегию. Таким телефоном не мог похвастаться ни один диктатор, серый кардинал или масонский главарь. Это я знал точно.

Работа Киклопа отнимала у меня всего несколько минут в день. Но я не собирался бездельничать в своем маленьком гнездышке. Я говорил о своем желании стать писателем — и теперь наконец у меня было для этого достаточно досуга. Мало того, у меня появился по-настоящему уникальный сверхчеловеческий опыт, а что еще надо, чтобы ворваться в рейтинги и умы?

Я, конечно, шучу.

Я действительно занимался сочинительством за своим рабочим столом около часа в день — и успел написать не так уж мало: три повести, вошедшие в эту книгу (текст, который вы читаете сейчас, был написан, когда я уже перестал быть Киклопом).

Возможно, в таком длинном предисловии есть элемент неронианства: когда разными посулами

и обещаниями заманивают граждан во дворец, а потом запирают двери и вынуждают слушать игру на лире. Впрочем, я оцениваю свои опыты трезво: главное достоинство моей безыскусной прозы в том, что она... Она... В общем, я хотел проявить обезоруживающую скромность, вы это поняли и все мне простили.

Но перед тем, как перейти к моим художественным опытам, мне надо рассказать о Птицах — иначе дальнейшее будет не вполне ясно.

ПТИЦЫ

Описанные мной меры маскировки могут показаться странными и чрезмерными — вроде бы я, обладая всеведением и способностью влиять на других, легко мог предотвратить приближающееся ко мне несчастье.

Так оно и было — во всем, что касалось злой воли обычных людей или предсказуемой механики этого мира.

Но в мире присутствовала и другая воля, которой я не видел, и исходила она не от людей. Иногда она действовала через них. Но даже и в этом случае она не делалась мне понятна, потому что подчиненные ей люди каким-то образом исчезали из зоны моего восприятия. Они, собственно, переставали быть людьми и превращались в подобие метеоров, падающих в наш мир, чтобы навлечь беды на меня и таких, как я (однажды мне удалось заглянуть в сознание такому метеору — поэтому я знаю, что сравнение подходит).

Странно, но эта враждебная воля не создавала тех дисбалансов, которые я торопился исправить. Возможно, Враг не обладал тем же видением мирового равновесия, что и я, и не понимал, на какие уязвимые точки следует нажать, чтобы его нарушить. Он всего лишь старался сжечь меня со свету. Но я вовсе не был главной целью: его стратегия применительно к нашему миру оказалась куда фундаментальней. Враг был осторожен, умен — и прятался гораздо лучше меня.

Свита предупреждала меня об опасности с самого начала. Своим мысленным взором я часто видел одного из помощников, склонившегося перед древним египетским папирусом на стене пустой каменной комнаты. Его раскрытый передо мной ум содержал одно бесконечно повторяющееся слово:

УГРОЗА УГРОЗА УГРОЗА УГРОЗА

Служитель сам не знал точно, в чем заключена угроза. Он знал лишь одно — демонстрация папируса Киклопу была единственным способом предупредить его об опасности. Остальное Киклопу следовало увидеть и понять самому. Этому ритуалу было столько же лет, сколько папирусу. Но я пока что не видел ничего, кроме рисунка на свитке.

Рисунок был малоинформативен. Он изображал бога Джихаути — человека с птичьей головой, повернутой в профиль. Его голова была непропорционально маленькой, с длинным изогнутым клювом, а над ней высился сложный и хрупкий го-

ловной убор, похожий на поднятый парус. В каждой руке Джихаути держал по маленькому человечку, покорно закрывшему лицо руками — одним он замахивался для броска, а другого держал перед грудью, как бы для противовеса.

Под рисунком был текст, который я неожиданно для себя смог понять (единственный раз, когда мне удалось прочесть что-то по-древнеегипетски — этот язык показался мне подобием комикса, загруженного тысячелетними хозяйственными смыслами). Смысл надписи был примерно таким:

«Придет могучий Враг, сильный и мощный, оружием которому будут люди. Будь настороже в одиноком месте! Воздев руки, увидишь Врага».

Египтолог, возможно, перевел бы текст иначе — но я напрямую видел смысл, заложенный в него его авторами. То, что я перевел как «оружие», в оригинале имело смысл «камень для пращи», но было употреблено, как я понял, метафорически. А «воздев руки» могло так же означать «возложив, подняв, употребив» — вообще сделав что-то руками. «Одинокое место» означало в первую очередь пустыню. Гулять там следовало с осторожностью.

Джихаути, или Тот. Тот самый, хочется мне сосчитать. Бог магии, письменности и вообще всякой эзотерики. В двух разных написаниях его имени так или иначе присутствовала птица.

Надпись казалась шифром — она явно пыталась сообщить мне нечто важное в обход непосвя-